

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ – СТРАНЫ НЕТ...



Арсений Александрович Замостьянов

Наступило полугодие нетриумфальных юбилеев. Двадцать лет первых президентских выборов в России, двадцать лет «Августу», двадцать лет Беловежью... Трагические даты для многих из нас и для автора этих строк. Но есть и другое мнение: подумаешь, распад СССР! В XX веке распалась и Австро-Венгрия, и колониальные империи, начиная с Британской. «Черчилль принял Британию империей, а отдал...» — мог бы съязвить Сталин. Распалась даже Чехословакия. И ничего, живут, не тужат...

- распад СССР
- «шоковая терапия»
- культурная традиция
- идеологическая модель
- экономический кризис

Название этим заметкам я придумал для красного словца. Конечно, страна у нас есть, да такая, что лучше не бывает, и ей вовсе не двадцать лет. Двадцать лет исполняется новой общественно-политической формации, у которой, на мой взгляд,

и впрямь сомнительные перспективы. А чего через двадцать лет нет — тому и не бывать. В любом случае, разбираться в этих хитросплетениях придется каждому из нас — особенно тем,

кто несёт в школьные массы азы общественных наук.

Кто Россию травит?

Кто лучше знал, понимал и точнее видел Россию времён императора Николая I — язвительный маркиз де Кюстин или восторженный Михаил Николаевич Загоскин? Нас ослепляет то любовь, то ненависть. Вот Егор Гайдар возликовал, увидев зимой 1992 года, как на Лубянской площади «Зажав в руках несколько пачек сигарет или пару банок консервов, шерстяные носки или варежки, бутылку водки или детскую кофточку, прикрепив булавочкой к своей одежде вырезанный из газеты «Указ о свободе торговли», люди предлагали всяческий мелкий товар... Если у меня и были сомнения — выжил ли после семидесяти лет коммунизма дух предпринимательства в российском народе, то с этого дня они исчезли». Странно, что Егор Тимурович не возрадовался появлению напёрсточников по соседству с бывшими резиденциями КГБ и ЦК. Тоже ведь борцы с тоталитаризмом — ловкие, деловитые. А мне милее тоталитарная площадь Дзержинского, на которой огромный «Детский мир» весело глядит на «готическое здание ЧК». И будь проклят дух предпринимательства, который порождает спекулянтов водкой. Прав Евтушенко:

Люди, синие от стужи,
обнимают фонари.
Сорок градусов снаружи,
сорок градусов внутри.
Кто Россию травит?
Кто Россией правит?
Барыня стеклянная —
водка окаянная.
Мчат по пьяным рысаки.
Боже, что творится!
Нынче водка на Руси
как императрица...
Твои очи, Русь, поблёкли,
а в ослаблых пальцах — дрожь.
Вниз по матушке по водке
далеко не уплывёшь.

Дешёвая водка была мужским наркотом «шоковой терапии» 1992 года. Женщинам телеканалы щедро предлагали латиноамериканские мыльные оперы, юному поколению — небывалую фиесту шоу-бизнеса. А ещё — казино, уголовный синтезаторный шансон, а чуть позже — финансовые пирамиды. Уже поздней осенью 1991-го все заговорили о «пире во время чумы». Кругом — разруха, нищета, тревога, а новые герои дня — господ в бабочках — с бестактным шиком-блеском отмечали, скажем, юбилей Елисейского магазина. У хозяев жизни — свои развлечения, от фуршетов до перестрелок, а для чёрного люда — палёная водочка. Всё, как в трагедии генерала Крутицкого: «Для дворян трагедии Озерова, для простого народа продажу сбитня дозволить». Первый (и, увы, не последний) брокер России Инце философствовал: «Люди равны только в бане... а в жизни теперь придётся кому-то довольствоваться чёрным хлебом, кому-то ананасами и рябчиками». В 1995-м ситуация дошла до крайности: одни захлёбывались шампанским, другие — кровью в Грозном. Для одних — открывали ночные клубы, для других — рыли зинданы.

В 1998 году, накануне дефолтного августа, вышла книга Солженицына «Россия в обвале». После возвращения на Родину писатель проводил немало встреч в разных аудиториях, в разных городах России. Самое интересное в этой книге — реплики «из народа», которые Солженицын записал и опубликовал. «Кто честно работает — тому теперь жить нельзя», «Курс, диктуемый из Москвы — на разъединение людей», «Разрушенный завод можно восстановить, но человека, узнавшего вкус дармового рубля, не восстановишь никогда». Каждая фраза — ключ, который отпирает архивы смутного времени. И пожалуй, главная мысль: «Один офицер на встрече в Ярославле сказал: «Новая Россия не поставила себя как Родину». С советской Родиной этого офицера

Солженицын сражался не на жизнь, а на смерть, чуть ли не атомную бомбардировку призывал — а тут оказался у развалин и объективно зафиксировал обвал. Обвал — это одно из определений эпохи, которая началась, пожалуй, в 1988-м, с 19-й партконференции и первых кооперативов, а завершилась «дефолтом» в августе 1998-го. Революционное десятилетие! А народное определение того времени ещё точнее — *бардак*.

То и дело звучал вопрос: «Когда закончится этот бардак?». Именно со времён первого оживления частной инициативы эстетика борделя утвердилась как магистральная. Вместо жертвенной героики, которая всегда скрепляла государственную идеологию в России, пришёл карнавал, поле чудес в стране дураков (между прочим, телепередача «Поле чудес» ещё до «Августа» воспринималась как лёгкомысленно-буржуазная антитеза перестроечной «чернухе»). Многие тогда утверждали, что идеология вообще не нужна государству, которое отбрасывает пути тоталитаризма. Всё расставит по местам его величество рынок. Чем меньше мы будем слышать о государстве — тем лучше. Очень скоро оказалось, что под эти напевы возшло новое чиновничество — сколь многочисленное, столь и безответственное. И новая идеология — идеология национальной неполноценности, криминала, гедонизма.

Перестройка с её неосмотрительным, но утончённым правдоискательством, с чернушным реализмом фильмов и книг, с романтической раскрепощенностью, с социал-демократическими мечтами сменилась «шоковой терапией». Многие прорабы перестройки в те годы поспешили трудоустроиться на Западе, другие впали в растерянность, но нашлись, конечно, сторонники и у гайдаровского направления, в том числе — и литературно одарённые. Вот Михаил Жванецкий — искренний апологет разбойничьего индивидуализма — очень даже честно показывал мотивы реформ: «Захотелось зарабатывать. Деньгами дух поддержать. Гайдар сделал деньги». «Смотри, как одиночки себя поднимают, кормят, одевают и этим страну поднимают и ещё другим остаётся. А коллективы только маршируют», «Когда всё на одном уровне — расцвет застоя, барды в лесах, балет и плохой ресторан», «Я понимаю всех, кто хотел

отвести этот корабль подальше от коммунизма в море — там разберёмся. Правильно, Анатолий Борисович. И пусть сейчас крики: «Неправильно! По дешёвке! Воровская приватизация!» Но мы-то уже не там. Мы в море». Вот такой гедонизм. Главное — не стремиться к лидерству ни в чём, кроме потребления. Расслабься. Это при тоталитаризме было важно высоко летать, быть быстрее, выше и сильнее на соревнованиях. Оказалось, что можно не утруждать себя напряжённым созданием, а деньги придут, стоит только примерить на себя буржуазный бизнес-стиль. Откуда? Из Сибири, завещанной Ломоносовым и Самойловичем, из Топливо-энергетического комплекса, созданного в 60–70-е. А ещё — каждому обывателю в ельцинской России было известно, что деньги даёт (под проценты, конечно) Мишель Камдессю. Песни, пляски и мысли тоже поставлялись к столу из-за рубежа. Началась ненастоящая жизнь, которую не в силах уловить ни литература, ни кинематограф. Рынок рекламы и всяческого гуманитарного сервиса породил человека изнеженного и чёрствого. Возникла оранжерея с бутфорской деловитостью. Наука, производство, культура — всё скоренько опускалось на варварский уровень Аркадия Укупника.

Есть обманчивый стереотип о советском образе жизни: «Что-то немножко делали, нас чем-то немножко кормили» — это Жванецкий. «Мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что платят». Конечно, отсутствие конкуренции порождало проблемы. Но самое тяжёлое последствие гайдаровских реформ — как раз в отношении людей к труду, к профессии. Уравниловки нет, но нет и масштабных амбиций. С 1992-го нас приучили, что вознаграждается не созидание, а суетня. В результате реформ выгоднее было под знамёнами «ограниченной ответственности» красить забор, чем строить

дом: минимальные затраты, максимальные приписки. Не труд, а позиционирование, торговля воздухом, шифрование пустоты. Профессионалов мирового уровня — хотя бы таких, как Жванецкий — становится всё меньше. Любопытно, что оазисами профессионализма стали отрасли, избавленные от рыночной конкуренции с зарубежными монополиями. Скажем, отечественные банки государство берегло, как племенных быков и правильно делало. Но почему только банки, а не авиастроение или детскую мультипликацию?

Россия стала зоной катастроф, зато двор поражал пышностью. Примерно к 1995 году стал складываться миф о «царе Борисе». Статью и лицом наш первый президент действительно напоминал монарха из картонной колоды в русском стиле. Он полюбил картинные позы, освоил царский апломб в интонациях, с помощью фирмы «Мабетекс» обрёл имперские интерьеры. Но монументальность получалась бутафорская — в противоположность суровому аскетизму советских традиций. Вельможи и шуты напоминали вертлявых конференсье из фильма Фосса «Кабаре» и балета Григоровича «Золотой век». Помню господина в колготках, запевшего по центральному телевидению чуть ли не в первый год «свободы»: «Помоги мне сделать аборт!». Нечто похожее творилось с 1993 года и на официозных кремлёвских концертах. А эта власть, эта элита почтения и не заслуживала, во всех отношениях «уважать себя не заставила». Эталонами стали сцены белогвардейского разложения и нэповского угара из советского кино (вспомним хотя бы вечеринку у Жигана из «Путёвки в жизнь» или музыкальный номер «Одесситка» из фильма «Котовский»).

Жванецкий ходил гоголем, но победителям девяностых не особенно были нужны манифесты и оды. Ходили слухи, что к инаугурации (отвратительные всё-таки слова: инаугурация, президент, импичмент) Ельцина Борис Дубровин написал нечто вроде при-

ветственной оды: «Вся страна сил полна: выбор сделала она!». Но Чубайс вычеркнул эти пиитические шалости из сценария церемонии. В придворных поэтах нужды не было, как и в идеологах. Интеллигенция повторила путь прежней элиты — аристократии. Гениально сформулировал Есенин: «И продал власть аристократ промышленникам и банкирам». За власть надо воевать. Её не дают за красивые глаза и подбородки, особенно — власть над умами.

Несостоявшиеся мифы

Вообще, этой революции не хватило поэзии, символики. Дело, конечно, не в подобострастной халтуре Дубровина. Андрей Зорин — пожалуй, самый умный (наряду с Альфредом Кохом, конечно) современный либерал — представил революционный период девяностых как борьбу метафор. Вот — август 91-го: «На стороне Кремля были те же атрибуты власти, которые он демонстрировал миру в течение всей советской эпохи. Во-первых, танки, бессмысленные для решения задач, которые ставили перед собой пугачисты, но десятилетиями успешно репрезентировавшие державную мощь. Во-вторых, канонизированная русская классика — помимо краткого информационного сообщения и пары невинных указов, ГКЧП сообщило стране о своём приходе к власти трансляцией по всем каналам «Лебединого озера».

Зорин описывает события нашего революционного десятилетия как противоборство культурных систем — разумеется, осознавая, что такая концепция не исчерпывает исторического смысла событий. Но всё-таки — как она выразительна! Мы подбираемся к событиям трагической осени 1993 года. И видим, что Б.Н. Ельцин совершает попытку «привлечь на свою сторону» инерционную силу культурной традиции. Несчастный Пётр Ильич Чайковский снова принимает участие в боевых действиях.

Парламент уже в осаде. По улицам Москвы сквозит ветер гражданской войны. Андрей Зорин замечает существенное, но, увы, позабытое событие: «В то же время перебравшийся в Кремль президент экспроприировал у своих предшественников Чайковского, как отчасти и танки, сохранив в то же время метафорику «вхождения в цивилизованный мир». 26 сентября Вашингтонский оркестр под руководством Ростроповича исполнил на Красной площади увертюру «1812 год»... На самой главной русской площади американский оркестр во главе со всемирно знаменитым музыкантом, изгнанным из России советским режимом, играл классическую русскую музыку. Новая власть пыталась через голову коммунистических временщиков представить себя наследницей вековых традиций российской государственности».

Оставим «коммунистических временщиков» на совести автора, имеющего право на личный антисоветизм, и согласимся, что тот концерт на Красной площади действительно символизировал многое. Кульминацией увертюры «1812 год», как известно, является мелодия «Боже, царя храни». Как и в России начала XX века, в ельцинской России сочетались экономический либерализм с поляризацией доходов — и державно-националистический гарнир, придававший во многом марionеточной власти фианитовый блеск латиноамериканских мундиров... Нужно учесть и роль М.Л. Ростроповича — знаковой фигуры, великого музыканта, связавшего свою судьбу с судьбой новой России. Все эти идеологические фрагменты свидетельствуют о том, что из тумана начала девяностых могла вырасти жизнеспособная культурная система, альтернативная советской. И если такая система не состоялась, тому было немало социальных и культурных причин.

Революции прошлых времён, как правило, безжалостно сметая прежнюю элиту, выдвигали молодое талантливое поколение, и это давало импульс развитию литературы, искусств — от изящных до воинских. А ельцинская революция упраздняла культуру. По большому счёту, новая политическая элита, лишённая сантиментов благодарности, не помогла даже классической либеральной интеллигенции. Тот же Ростропович появ-

лялся в сфере общественного внимания лишь наскаками. Все прорабы перестройки после первой же программной речи Егора Гайдара оказались в положении «вне игры», если не в состоянии «гrogги». Тогдашний министр Евгений Сидоров выглядел председателем ликвидационной комиссии. Современные молодые люди, равнодушные к политике и истории, хорошо знают о «Письме 42» — благо, в Интернете найти ту филиппику из «Известий» 1993 года можно за полминуты. Но у них может сложиться впечатление, что к расправе над оппозицией призывали некие властители дум. Но тогда, осенью 1993-го, у писателей (и у тех, кто подписал незабываемое воззвание, и у тех, кому оно грозило сумой, да тюрьмой), увы, не было ни настоящего влияния, ни авторитета в обществе, к которому мы попривыкли за два века литературоцентризма. Подписав это письмо, они потеряли честь, но ещё раньше — утратили аудиторию. Властителем дум был тогда Лёня Голубков, да ещё, пожалуй, «новый русский» из анекдота и из первых гламурных телепередач коммерческого телевидения. Голубков стал для нашей августовской революции и Бонапартом, и Маяковским, и Эйзенштейном: настоящие полководцы, поэты и кинематографисты недотягивали.

Следующим значимым этапом становления несостоявшейся новой российской государственности Зорин считает праздник 850-летия Москвы, проведённый с «новорижским» размахом в 1997 году. Исследователь пишет: «В полной мере метафорика примирения была реализована в рамках... идеологической модели, наиболее зримым и наглядным выражением которой стали торжества, устроенные 5–7 сентября 1997 года по случаю 850-летия Москвы». Нужно добавить, что торжества эти готовились в течение нескольких лет, когда информационная подготовка к юбилею Москвы шла

на всех уровнях, а центр города — Манежная площадь — превратился в мрачный котлован, напоминавший всем о центральном объекте будущего праздника. Зорин пишет: «В сценарии московского юбилея трагическая история России неожиданно предстала как бесконечная и бесконфликтная череда золотых веков. Московский мэрился на праздник в костюме древнерусского князя. Портрет доброго царя Ивана Грозного был спроецирован на стену МГУ в лазерном шоу французского композитора Жарра». И — вывод: «Новая весть, объявленная московским праздником, состояла в том, что Россия вступила в общество потребления, и это национальное, державное, православное общество потребления, освящённое историей страны и её религией. В дни торжеств у многих наблюдателей, включая автора этих строк, складывалось впечатление, что заветная идея, призванная объединить нацию, наконец, найдена. Будущая Россия виделась тогда страной нефеодалного консьюмеризма, управляемой союзом удельных князей во главе с московским князем, играющим роль первого среди равных. Однако уже осенью 1999 года и эта идеологическая модель, и её творцы потерпели сокрушительное поражение. Августовский кризис 1998 года, войны на Балканах и на Кавказе вновь востребовали метафоры сильной руки, территориальной целостности и властной вертикали». Думается, дело ещё и в том, что благополучие и согласие, которым был напитан праздник 1997 года, было избыточно бутафорским, фиктивным. «Пир во время чумы» — такой эпиграф пристегнул народ к лужковскому карнавалу. И ещё: создатели многочисленных шоу, театральных обзоров и песен, вошедших в программу праздника, не проявили ощутимого таланта и трудолюбия. Спортивные комментаторы любят повторять афоризм известного советского футбольного тренера Бориса Аркадьева: «Что такое отечественный футбол? Это — футбол изо всех сил». Про церетелиевский памятник Петру или песню «Москва, звонят колокола!» этого не скажешь. Творцы

праздника Москвы потрудились вполсилы, получили недурственные гонорары — и навсегда выпали из народной памяти. Заслуживающих внимание посланий «от сердца к сердцу» на деньги мэрии создано не было. Получился именно праздник феодалов, лишённый идеи уважения к *народу* и *труду*. Бесстыжий праздник. А мы всё-таки привыкли если не к шедеврам, то к недурственной музыке, литературе, архитектуре, без чего любое благополучие воспринимается выморочным, ложным. Не превратились мы за пять-шесть лет в периферийный улыбчивый народ...

А в 1998-м и впрямь в одночасье вся риторика «молодых реформаторов», обещающих возрождение России под пёстрыми флагами либерализма, превратилась в разбитое корыто... И уже не только консерваторы, но и преобладающая часть общества осознали, что России необходимо движение в сторону огосударствления и коллективизма. Разумеется, интенсивность такого движения — величина непостоянная, и на этот счёт всегда будут разные мнения. Но после 1998 года идея всеобщего согласия на почве феодальных развлечений, полных прилавок и расправы над памятниками Ленину из проблематичной превратилась в невозможную.

«Август» так и просился в государство-образующий миф — чем не Энеида? «Когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил», я тоже прельстился августовской исторической симфонией. Каюсь. У тех событий была эпическая фактура — зрелищная, вроде бы не оторванная от реальности. Триколор, который легко перепутать с флагами десятка стран, конечно, слабоват против красного знамени. Но — разбитый троллейбус, баррикады, Ельцин, выступающий с танка, стихия многотысячных митингов. Разве этого мало? Сразу вспоминается залп «Авроры», взятие Зимнего, петроградская ночь... Похоже! Но у «Августа» не нашлось своего Эйзенштейна. Как не нашлось Маяковского,

Джона Рида, Троцкого, Сталина, Радека, Ромма, которые в своих интерпретациях придали Октябрю силу художественного образа, превратили его в эпос. На победном белодромовском митинге «Августа» читал стихи Евтушенко («Просыпается совесть у танков...»), выступал Никита Михалков. Немного позже Евтушенко опубликует очерк «Носки для президента России», в котором набросал контуры будущего (но так и не состоявшегося, как мы знаем) мифа о победном «Августе». Но уже в 1992-м Евтушенко от этой власти отшатнулся. С тех пор о ельцинской системе он будет говорить только в мрачных тонах, а иное было бы нестерпимо фальшивым. Из героев августовского митинга рядом с Ельциным до конца был только студент кулинарного техникума, который так и не научился относиться к своей публике, к своему — советскому — народу с мудростью и тактом, свойственным Аркадию Райкину.

Уже первая годовщина августовских событий выглядела сиротливо. Государственным праздником стал невыразительный «день независимости» 12 июня, а фактура «Августа» пропала попусту. Пожалуй, именно в первую годовщину «Августа» предопределилась пе-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ

риферийная роль демократических деяностей в истории русской цивилизации.

Что ж, туда им и дорога. Многие тогда повторяли афоризм Черчилля: «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Когда-то это изречение звучало убедительно. Но после Пелопоннесской войны поверить Черчиллю непросто, а после битвы при Херонее — невозможно. Да и есть у нас в запасе изречение Чаадаева: «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что неправы его противники».

Я пристрастный оценщик, для меня в любую эпоху главное — состояние массового Просвещения и независимость державы, которую обеспечивают система народного образования, армия и военная индустрия. Для кого-то важнее свобода слова, открытые границы, право на индивидуализм, толерантное отношение к сексуальным меньшинствам... Это двадцатилетие, кажется, оставило нас внакладе, но... сверим часы через двадцать лет. **НО**